

Содержание

Воткнулся нож.....	7
1. «Бешен был и дик»	15
2. Время решать	31
3. Слова не ранят?	46
4. Сотрудники тюрьмы <i>«Те, кто больше рискует получить выговор»</i>	61
5. Деньги жулья.....	76
6. Самоубийства <i>Болезнь как товар</i>	95
7. Доктор Нет <i>Оковы для ума.....</i>	111
8. Ободряющие удары дубинкой <i>«Вы британцы, а не албанцы»</i>	127
9. Правило номер сорок пять.....	136
10. Тонкая голубая загогулина	169
11. Новая деятельность в области убийств	184

12. Психиатрическая плесень	
<i>Каждый человек — пациент</i>	201
13. Ни одно доброе дело	
не остается безнаказанным	216
14. Громкие удовольствия	224
15. Простое предупреждение	238
16. Пьяный стресс	254
17. Злобные личности	
<i>«Глупое мелкое обвинение в убийстве»</i>	268
18. Маниакальная борьба за смягчающие	
обстоятельства	
<i>Про 37,9%</i>	283
Чему предшествует гордость	296
О tempora, o mores!	305

Воткнулся нож

Работая тюремным врачом-терапевтом и психиатром, я повстречался с немалым числом преступников. Зачастую они в общем-то не выглядят таковыми. Самый знаменитый (точнее, печально знаменитый) убийца из всех, кого мне доводилось в жизни видеть, — Фредерик Уэст. В небольшом доме в Глостере он вместе со своей женой Розмари подверг сексуальным истязаниям, убил, расчленил и зарыл двенадцать человек, в том числе двух детей из числа своих собственных. Об этих преступлениях стало известно в 1994 году, через двадцать с лишним лет после того, как супруги совершили первое из них. Порочность этих двоих потрясла даже поколение, пресыщенное криминальными сенсациями. Когда я впервые лично увидел Уэста, он показался мне человеком довольно приветливым. Основную часть досуга он проводил, играя в бильярд с сотрудниками тюрьмы. Но в его облике мне виделось нечто зловещее, нечто от волка-оборотня — даже когда он старался казаться почти-тельным и обаятельным.

Я был еще очень молодым врачом, когда я встретил своего первого убийцу. И он тоже совершенно не выглядел как душегуб. Этот не старый еще человек задушил свою жену, потому что она (по его словам) не давала ему спокойно почитать вечернюю газету, когда он возвращался домой с работы, а кроме того, ее маленькие висячие сережки звенели в высшей степени вызывающе. В прошлом у него не отмечалось никаких

правонарушений, и было решено, что он наверняка просто сумасшедший. Поэтому его отправили не в тюрьму, а в больницу. Я чувствовал себя польщенным, пожимая руку столь скверного человека: никогда прежде мне не случалось встретить негодяя даже вдвое менее злокозненного.

Как позже выяснилось, он оказался почти единственным убийцей (из всех, кого я в жизни встречал), который хоть немного напоминал почтенную личность, описанную Оруэллом в его эссе «Закат английского убийства»: именно о преступниках такого типа англичане очень любили читать в годы между двумя мировыми войнами. Убийцы подобного рода были респектабельны (порой даже религиозны), принадлежали к среднему классу (пусть даже к нижнему его слою), в каком-то смысле вели двойную жизнь, а к преступлению их побуждала либо алчность — они страховали жизнь потенциальной жертвы и после ее смерти пытались получить страховку, либо необходимость прикрыть тайную интрижку. Мне привелось увидеть лишь двух убийц, которые совершили убийство ради страховки. И они избавлялись от своих жертв, подождав не более двух недель после резкого увеличения страховой суммы, тем самым давая следствию что-то вроде подсказки относительно своих мотивов.

Но в той тюрьме, где я впервые начал работать врачом, мне удалось заметить любопытное явление, характеризующее современную жизнь: заключенные использовали в своей речи пассивный залог, чтобы дистанцироваться от собственных решений и убедить других в том, что не отвечают за свои действия. Я обратил внимание на это явление, беседуя с убийцами, которые зарезали кого-то и которые неизменно твердили «Воткнулся нож» (в тело жертвы), как если бы это нож управлял рукой, а не рука ножом.

Такой убийца нередко пересекал весь город, прихватив с собой холодное оружие, — чтобы расквитаться с конкретным

человеком, на которого он затаил серьезную обиду. И все равно «нож втыкался». Когда я сообщил об этом наблюдении жене, тоже врачу, она решила, что я преувеличиваю. Но однажды она, ведя прием у себя в клинике, спросила у пожилой вдовы, как умер ее муж. «Нож воткнулся», — ответила вдова. Моя жена, поразившись, насилу дождалась конца консультации, чтобы позвонить мне и рассказать об этих словах, которые она услышала сама.

Впоследствии я заметил, что все заключенные используют подобные выражения — но лишь для описания своего дурного поведения, а не хорошего. «Пиво сошло с ума» или «пиво одолело меня» — фразы, которые очень любили алкоголики, как будто это напиток пил их, а не наоборот. Героиновые наркоманы, описывая, как и почему они начали употреблять наркотик, почти всегда уверяли, что «связались с неподходящей компанией». Когда я отвечал: «Вот ведь странно, я видел много людей, которые связались с неподходящей компанией, но ни разу не встретил ни одного члена этой самой компании», — мои собеседники неизменно смеялись. Безрассудство — это не то же самое, что глупость.

Разумеется, подобно современному преступнику, все мы время от времени грешим использованием того же метода. Мы ищем свободы от нравственной ответственности за свои худшие поступки. Вот почему эта глава называется «Воткнулся нож».

Тюремный язык не переставал поражать меня. Он всегда яркий и выразительный и в некотором смысле красивый. Фраза «Моя голова превращена в капусту*» означала, что человек

* Одно из значений приведенного в оригинале сленгового выражения *cabbaged* (его можно перевести как «превращенный в капусту») — состояние сильного опьянения. — *Прим. ред.*

находился в таком мучительном состоянии, что не полностью отвечал за свои действия. «Вы не собираетесь сделать меня психом, не так ли, доктор?» — спрашивал заключенный, который опасался, что я собираюсь отправить его в психиатрическую больницу (психиатрические отделения Национальной службы здравоохранения — НСЗ — гораздо хуже, чем тюрьмы). Заключенный, который только что был приговорен к пожизненному заключению, скажет: «Судья пожизненно убрал меня».

Однако преступления, совершенные подавляющим большинством убийц, которых я встречал, были попросту мерзкими и пакостными. Стычка из-за пустяков на фоне опьянения или употребления наркотиков — таковы были обстоятельства большинства этих правонарушений. Самым ничтожным поводом для убийства из всех, с какими я сталкивался, было замечание о марке кроссовок будущего правонарушителя: он, видите ли, счел эти слова унижительными для себя. Несомненно, это служит веским свидетельством того, насколько ранимое «я» у некоторых наших сограждан, насколько оно воспалено их «подчиненным» положением в мире. Сидящие за решеткой весьма далеки от общественной атмосферы, где мужчина может убить женщину и тут же сыграть за стеной на губной гармошке «Ближе, Господь, к Тебе».

Я все надеялся, что когда-нибудь меня привлекут в качестве эксперта к расследованию какого-нибудь убийства в духе Агаты Кристи (скажем, когда викарий отравил сельского сквайра в библиотеке), но мои мечты так и не сбылись. Вероятно, из-за того, что в наши дни не слишком много викариев, отравляющих сквайров в библиотеках.

На самом-то деле Джордж Оруэлл стал не первым писателем, отметившим упадок английского убийства (качественный, а не количественный). Сэр Лесли Стивен, отец Вирджинии Вулф, сделал это еще в 1869 году, на самой заре того, что (как полагал

Оруэлл) стало «золотым веком» английского убийства, когда тон временам задавало мелкобуржуазное ханжество, в котором религиозность странным образом смешивалась с вольнодумием.

Более типичные обстоятельства современного убийства — к примеру, какая-нибудь отвратительная склока вокруг долга в десять фунтов. (Собственно, убийство было совершено в попытке вернуть эту злосчастную десятку.) В нашем обществе до сих пор имеются уголки (и, возможно, не столь уж немногочисленные, как мы предпочитаем думать), где считается, что такие суммы стоят того, чтобы за них драться. И даже того, чтобы ради них убивать.

В большом городе, где жил убитый, он был одним из тех безработных, которые организуют неформальный питейный клуб весьма распространенного типа: члены клуба подгоняют дни получения очередных социальных выплат так, чтобы можно было покупать выпивку всю неделю (в понедельник всех угощает один член клуба, во вторник — другой и т.д.). Во время запоя он одолжил у кого-то из коллег по клубу десять фунтов, а затем упорно отказывался их отдавать. Остальные четыре члена клуба (в том числе женщина лет тридцати) отправились к нему выбивать должок. Именно ее меня и попросили обследовать — на предмет возможных смягчающих обстоятельств по психиатрическим причинам. Ее адвокат предположил, что она, возможно, умственно неполноценна.

Ее линия защиты была такова: она ничего не делала, она только наблюдала. Это они его убили. Разумеется, все они утверждали о себе то же самое. Но какое же ужасное насилие! Четверка обратила квартиру жертвы в многоквартирном доме-башне в пыточную камеру. Несчастный был не только алкоголиком, но и инвалидом, на грани инфаркта, и он мог лишь с трудом забираться на свое инвалидное кресло и слезать с него (электрический привод позволял наклонять спинку под разными

углами). Тем легче им было его пытаться. Они сломали ему обе ноги, они переломали ему ребра (все ребра до единого), они раздробили ему череп. Они кипятили воду в чайнике и поливали его. На это ушел не один чайник воды. И все-таки они не получили обратно свои десять фунтов.

В конце концов они решили, что денег у него и правда нет, что он не пытается их «обдурить» (как выражаются в этих местах). Четверка покинула квартиру и двинулась выпить — уже употребив тот алкоголь, который нашелся в квартире жертвы. Они оставили его живым, точнее — едва-едва живым. По-видимому, не прошло и часа после их ухода, как он умер.

Но вот что поразительно: как и в случае Фреда Уэста, я не проникся к обвиняемой такой уж полнейшей антипатией. В тюрьме ей пришлось сидеть трезвой, и это произвело на нее прямо-таки чудотворное действие.

Она не чувствовала за собой никакой вины, ведь она просто наблюдала. Но ее, судя по всему, не особенно беспокоило то, свидетелем чего она стала. Она сказала, что не ушла и не позвала на помощь, потому что ее не пускали остальные. Но как же насчет последовавшей общей выпивки?

— Я побоялась с ними не идти.

Защита считала, что уровень интеллекта этой женщины, возможно, слишком низок, чтобы она участвовала в судебном процессе. Сам я полагал, что это не так, но все-таки предложил официально проверить ее умственные способности. В тюрьме, где она содержалась, работали два психолога, но они отказались выполнять эту проверку. Казалось, мое обращение вызвало у них даже некоторое раздражение, как если бы они были хирургами-кардиологами, а я просил их подстричь больному ногти на ногах. Они заявили, что им за это не платят, однако все-таки дали мне телефон психолога, занимающегося частной практикой. Но тут возникла еще одна трудность. Психолог заломила

такую цену, что ни сторона обвинения, ни сторона защиты не выдержали бы расходов.

Поэтому я взялся самостоятельно протестировать когнитивные способности обвиняемой. В частности, я спросил у нее, помнит ли она что-нибудь из недавних новостей. Так уж совпало, что как раз незадолго до этого одну особенно злобную психопатку приговорили к пожизненному заключению за то, что она зарезала трех мужчин. Обычно такие преступления совершают мужчины.

— Ну да, — ответила моя подопечная, — в газетах писали про эту жуткую женщину, которая убила трех мужчин.

И добавила:

— Прямо не знаю, куда катится мир.

1

«Бешен был и дик»

Постоянно существует некое напряженное противоречие между двумя подходами: рассмотрением людей как отдельных личностей и как представителей того или иного класса. Из того факта, что стрэтфордские мальчишки обычно не отправлялись в Лондон, чтобы сделаться актерами, можно было бы сделать ошибочный вывод о том, что Шекспир никогда не был актером в Лондоне. А из того факта, что его труды уникальны для мировой литературы, можно было бы сделать ошибочный вывод о том, что их автор вообще не мог существовать.

Разумеется, убийство — худшее из преступлений, но это вовсе не значит, что убийцы обязательно худшие из людей. У вас может вызвать замешательство то, что вам нравится человек, задушивший кого-то голыми руками, однако такое часто случалось со мной на моем профессиональном пути — и как психиатра, и как тюремного врача. И ведь не то чтобы я при этом думал: «Если бы не милость Божья, со мной тоже могло бы случиться такое». Мне как-то никогда не хотелось никого задушить, как бы сильно я ни срывался. Но большинство людей не полностью характеризуются единичным худшим поступком в их жизни, пусть даже это их единственный поступок, имевший хоть какое-то общественное значение: их личность никогда этим не исчерпывается.

Конечно же, некоторые убийцы не заслуживают какого-либо естественного сочувствия. Помню одного мужчину, который за двенадцать лет до нашей встречи с ним насадил трех детей на заостренные прутья садовой ограды, потому что они слишком шумели; его оставили посидеть с ними, а ему хотелось посмотреть телевизор. Будучи человеком с ограниченным воображением, он — даже проведя за решеткой много лет — не мог представить себе, что совершил нечто дурное. Он угрожал смертью моему коллеге-медику, поскольку тот отказался выписать ему таблетки снотворного. Было ясно, что этого заключенного никогда не отпустят на свободу, а поскольку ему нечего было терять (даже если он совершит еще одно убийство), к его угрозе отнеслись серьезно: его быстро перевели в другую тюрьму.

Подобные люди вынуждают нас задаваться важными метафизическими вопросами, на которые по сей день не нашлось ответа, — может быть, на них в принципе нельзя отыскать ответ, поскольку они являются философскими по самой своей природе. Такой человек почти наверняка относится к тем, кого некогда принято было именовать нравственно безумными; столетие спустя его нарекли бы психопатом (термин придумал немецкий психиатр Юлиус Кох в конце XIX века), затем — социопатом; в наши дни сочли бы, что он страдает «антисоциальным расстройством личности». Психиатры почему-то думают, что они расширяют научное знание и понимание, когда меняют терминологию.

С самого первого момента своей жизни, когда такой человек обретает способность действовать по собственной воле, он неизменно предпочитает делать именно то, что будет больше всего расстраивать или пугать окружающих, вызывать у них самое сильное отвращение. К примеру, он может проявлять крайнюю жестокость по отношению к животным — запикивать кошек в стиральные машины, обливать собак бензином.

Он постоянно лжет (почти «из принципа»), он ворует у тех, кому больше всего обязан. Если у него достаточно высокий уровень интеллекта, он может избегать неприятных для себя последствий своих поступков, однако в любом случае никакое наказание не исправило бы его, не удержало бы его от повторения подобных действий.

Такой шаблон развития человека распознали еще давным-давно — задолго до того, как психиатры придумали для него научное название. В шекспировской пьесе мать Ричарда III, герцогиня Йоркская, говорит ему:

Родился ты, клянусь распятым я, —
И стала адом бедная земля.
Младенчество твое мне тяжким было,
И школьником ты бешен был и дик,
И юношей неукротим и дерзок,
А возмужав, ты стал хитер, коварен,
Высокомерен и кровав, — опасен
Тем, что под простотой ты злобу скрыл*.

И ведь не то чтобы психопат (во всяком случае сравнительно относительно разумного типа) не знает языка нравственности; скорее уж сама нравственность не находит в нем отклика. Она значит для него не больше, чем какой-нибудь любопытный обычай далекого и малоизвестного племени для читателя антропологической статьи.

Но тут есть исключение — случаи, когда психопат считает себя объектом несправедливости. Он может обладать чрезвычайно высокой чувствительностью к предполагаемой несправедливости

* Уильям Шекспир «Ричард III», акт IV, сцена 4. — Здесь и далее цитируется в переводе А. Радловой.

и использовать ее, чтобы оправдать для себя и для других свои дальнейшие проступки и преступления. Ричард III объясняет свое злодейство тем, что он был послан в мир живой «недоделанным», таким «убогим и хромым», что псы лаяли на него на улицах, когда он «ковылял пред ними»; а поскольку он не мог сделаться любовником, «решился стать» «подлецом»*. Однако в самом скором времени он соблазняет женщину, чей муж и свекор недавно погибли от его рук. Так что это физическое «убожество» вовсе не помешало ему стать любовником.

Саймон Барон-Коэн, выдающийся преподаватель и исследователь психопатологии развития, полагает, что закоренелые злодеи, возможно, страдают какими-то неврологическими повреждениями или неврологической неполноценностью, — и представляет снимки мозга, которые, по его мнению, подтверждают эту гипотезу. Однако нашу философскую проблему это, в общем-то, не затрагивает. Может быть, снимки мозга злодеев (или, по менее эмоциональной классификации Барона-Коэна, тех, кому недостает эмпатии — сочувствия) и можно отнести к типу X, но означает ли это, что все люди со снимками типа X — злодеи? То, что картина мозга лондонских таксистов меняется, после того как они запомнили схему улиц британской столицы, не означает, что эти измененные снимки — причина их знания Лондона или выбора ими профессии.

Более того, подобно всем нам, Барон-Коэн ограничен языком нравственности. Подзаголовок его книги таков: «Новая теория человеческой жестокости». Понятно, что, как и все, он считает, что жестокость — вещь нежелательная с моральной точки зрения. Однако никакое просеивание снимков мозга, никакие бесчисленные научные обследования не способны разрешить вопрос о том, что желательно или достойно порицания с точки

* Уильям Шекспир «Ричард III», акт I, сцена 1.

зрения нравственности. Нельзя засунуть человека в томограф, чтобы выяснить, оправданна ли была та ложь, которую он произнес. Барон-Коэн говорит об «адекватной» эмпатии (и о ее нехватке), но такая «адекватность» не является величиной, измеряемой в материальном мире. Ее невозможно определить даже самым чувствительным прибором: таких приборов нет и, более того, не может быть. Представим себе, что кто-то сочувствует доктору Менгеле. Станем ли мы помещать этого сочувствующего в томограф, пытаясь выяснить, правильно ли для него проявлять такую эмпатию?

Рассуждения о психопатии легко могут привести к ужасной путанице. Трудность заключается в переносе общих выводов о психических расстройствах, полученных в результате научных исследований, на специфику реальной ситуации, особенно когда кто-то совершил преступление.

Однажды сторона обвинения пригласила меня в качестве свидетеля-эксперта на процесс, где разбиралось убийство, в котором обвиняли молодого человека с ограниченным интеллектом. Он жил в своего рода ночлежке, занимавшей несколько этажей ветхого здания. Подобно прочим жителям ночлежки, он много пил и злоупотреблял транквилизаторами, особенно валиумом (диазепамом).

Этот молодой человек повздорил с другим жильцом, обвинив того в краже золотой цепочки, которую носил на шее. Как-то вечером этот жилец улегся спать рано — как обычно, пьяным. Обитал он на верхнем этаже. А на первом этаже шла попойка, в которой принимал участие обвиняемый. Алкоголь усилил его обиду на этого другого жильца, и он вскарабкался по шаткой лестнице с узкими ступеньками, чтобы избить его, после чего вернулся на пирушку.

Дальнейшие возлияния еще больше возбудили его, и он снова взобрался на верхний этаж, чтобы нанести еще более

жестокие побои, на сей раз — с фатальным результатом. После этого он вновь возвратился на вечеринку, хотя позже невозможно было с какой-то степенью уверенности определить, осознавал ли он тогда, что второй жилец мертв.

Сторона защиты согласилась с утверждением, что обвиняемый действительно поднялся по лестнице и действительно забил этого человека до смерти: в этом не могло быть никаких сомнений. Оставалось лишь два вопроса: способен ли он был сформировать в своем сознании само намерение убить и были ли в его психике какие-либо аномалии, которые существенно снижали бы степень его ответственности за свои поступки. (Собственно, по закону в то время было необходимо лишь доказать, что он имел намерение нанести серьезные повреждения, поскольку, если человек умирает от травм, нанесенных при осуществлении намерения причинить такие повреждения, а не убить, нанесший травмы все равно считается виновным в убийстве. Получается, что убийство было легче доказать, чем *покушение* на убийство, когда обвинению необходимо доказать, что обвиняемый действительно намеревался убить, а не просто нанести травмы.)

Сторона обвинения попросила меня подготовить отчет, где сообщалось бы лишь о том, способен ли был этот молодой человек сформировать намерение убить (притом что на самом деле он фактически совершил убийство): отвечать на другие вопросы мне не требовалось. Представитель обвинения, видный юрист, имеющий звание королевского адвоката*, признался мне, что мой отчет — самый краткий из всех, какие ему доводилось

* В настоящее время — скорее почетное звание, традиционно существующее в некоторых странах Британского Содружества. Но его престиж по-прежнему велик: чтобы стать королевским адвокатом, до сих пор необходимо проработать адвокатом не менее пятнадцати лет. — *Здесь и далее, за исключением особо оговоренных случаев, прим. пер.*

читать. И я не думаю, что с его стороны это было критическое замечание (во всяком случае я сам себя в этом пытаюсь уверить). Я написал примерно следующее:

«Тот факт, что обвиняемый дважды поднялся по лестнице и жестоко избил единственного человека в здании, на которого он затаил обиду, позволяет предположить, что он был способен сформировать намерение убить».

Действительно ли он совершил убийство? Отвечать на этот вопрос, конечно, полагалось не мне, а суду.

Я присутствовал на процессе — лишь для того, чтобы в случае необходимости дать ответ на выступление эксперта, привлеченного стороной защиты. В попытке доказать, что обвиняемый не вполне отвечал за свои действия, защита пригласила одного выдающегося преподавателя, всю жизнь изучавшего психопатов и психопатию.

Согласно английским законам, всякий человек считается вменяемым и обладающим полным контролем над своими умственными и физическими способностями, пока не доказано обратное (в результате взвешивания вероятностей). Так что бремя доказывания лежит на защите: это она должна доказать, что в момент совершения преступления обвиняемый не владел собой. Сторона обвинения не должна ничего доказывать — даже то, что у обвиняемого был какой-то мотив, хотя ей часто идет на пользу умение доказать это в суде. Преступление без мотива вызывает подозрения в сумасшествии обвиняемого, но в делах об убийстве мотивы обычно вполне очевидны.

И вот профессор занял место для выступлений свидетелей. Он производил внушительное впечатление — высокий, подтянутый, уверенный. Пока он давал основные показания (то есть когда ему задавал вопросы адвокат, пригласивший его), все шло хорошо. Профессор сумел пространно изложить свое мнение

без всяких противоречий. (Первым делом он, впрочем, сообщил о своих ученых званиях и степенях, об опыте, исследованиях, о публикациях. Все это весьма впечатляло.)

Но все рассыпалось на стадии перекрестного допроса. Спокойно, без всяких внешних признаков враждебности обвинитель сокрушил его за какие-нибудь две-три минуты.

— Если я правильно вас понял, профессор, вы утверждаете, что обвиняемый — психопат, что психопатия — состояние врожденное, а следовательно, ответственность обвиняемого меньше?

— Да, это верно.

— Каковы доказательства в пользу того, что он психопат?

— Его преступление — это преступление психопата.

— А помимо его преступления?

Профессор замялся. Видно было, что он пришел в некоторое замешательство из-за того, что в его словах усомнились. Тут я понял: он либо невнимательно изучал материалы дела, либо не обследовал обвиняемого. Не было никаких свидетельств того, что прежде обвиняемый совершал насильственные действия, — и того, что он обладает какими-либо определяющими характеристиками, свойственными психопатам.

После неловкого молчания (казалось, оно длится целую вечность; эту долгую паузу я провел с закрытыми глазами) обвинитель продолжал:

— Таких свидетельств нет, верно? По сути, вы утверждаете: мы знаем, что он психопат, исходя из того, что он совершил, а совершил он это, поскольку он психопат.

В ответ профессор издал какой-то невразумительный звук: похоже, во рту у него пересохло, он явно смутился, так что получилось не слово, а нечто лишь похожее на слово и неясное.

— Благодарю вас, профессор, — произнес обвинитель с точно рассчитанной долей легкого презрения.

У защиты имелся в запасе еще один свидетель-эксперт. Это был психофармаколог с мировой славой, также профессор, весьма яркая и харизматичная личность. Он также вполне уверенно прошагал на место для свидетельских выступлений. На нем был темно-синий двубортный костюм в широкую полосу (из тех, которые носят лишь люди определенного типа) и ярко-желтый галстук-бабочка. Тут можно отметить, что адвокаты, готовящие дело (солиситоры), носят костюм в тонкую пунктирную полосу, а адвокаты, выступающие на процессе (барристеры), — в более широкую («меловую») полосу. Обувь они тоже носят разную. Солиситоры, практикующие в области уголовного права, не обращают внимания на свою обувь, которая у них часто дешевая и потертая, тогда как у адвокатов, выступающих в суде (даже у молодых и только еще подающих надежды), она дорогостоящая и начищенная до блеска. У этого второго профессора была грудь колесом и властная манера держаться: он выделялся бы в любом обществе.

В ходе своего основного выступления этот психофармаколог категорически заявил, что обвиняемый наверняка был так пьян и его координация движений была настолько нарушена (из-за таблеток, которые он принял, если верить его словам), что он попросту не мог бы взобраться по узким ступенькам в комнату жертвы даже в первый раз, не говоря уж о втором разе — после того, как он употребил дополнительное количество спиртного и таблеток.

— Позвольте мне прояснить вопрос полностью, профессор, — подал голос обвинитель. — Предлагаемое вами доказательство — то, что обвиняемый не мог подняться по лестнице в силу фармакологических причин?

— Да, — уверенно ответил профессор.

— Благодарю вас, профессор, больше у меня вопросов нет.

Эксперт покинул место для свидетельских выступлений. Крылья его бабочки гордо колыхались. Полагаю (и уж точно — надеюсь), что он совершенно не осознал, каким дураком его выставили: он заявил, что событие, которое (как признала защита) имело место, не могло произойти — и что оно не произошло.

Как и почему авторитет этих двух ученых мужей (оба — светила в своей области) был с такой легкостью подорван стороной обвинения, когда они выступали в качестве свидетелей-экспертов? Тут две причины.

Первая: оба попросту были чрезвычайно занятыми людьми, вынужденными постоянно совмещать исполнение административных обязанностей с преподаванием, научными исследованиями, написанием статей, лекциями, деловыми поездками. У них не нашлось ни времени, ни желания как следует изучить и хоть на некоторое время запомнить материалы дела: ведь это было, в конце концов, всего лишь примитивное убийство и в нем совершенно отсутствовало то, что Шерлок Холмс назвал бы «интересными особенностями».

Вторая причина (как мне представляется): оба профессора слишком привыкли к собственной блистательности. Оба были убеждены, что это они должны вещать, а все неспециалисты должны безоговорочно верить им.

Мне довелось увидеться со вторым профессором, психофармакологом, в рамках другого дела. Мы встретились возле зала судебных заседаний, перед тем как нас вызвали. Я тут же проникся к нему симпатией. Он был из тех, кого приятно повстречать на каком-нибудь званом обеде: живой кладезь веселых, интересных и многозначительных историй, при этом явно наслаждающийся яствами, расставленными на столе. Это была яркая, остроумная личность, выделяющаяся на фоне обыденности.

В тот день разбиралось дело молодого человека, проникшего на многоэтажную автостоянку и задушившего там женщину. Вызывает немалое удивление, что он ухитрился проделать это вне поля зрения камер видеонаблюдения. Это поразительно, ведь в наши дни практически все, что происходит за пределами помещений, фиксируется камерами (по крайней мере в Великобритании). Вы невольно делаетесь кинозвездой, сами того не создавая.

Обвиняемый утверждал, что он не убийца и не мог таким быть, поскольку в день смерти этой женщины так накурился каннабиса, что физически не мог бы стать причиной ее гибели. Профессор, мировой авторитет в области изучения воздействия марихуаны на человеческий организм, поддерживал эту линию защиты — при условии, что обвиняемый в тот день действительно употребил столько наркотика.

На сей раз меня пригласили, чтобы я выдвинул возражения против свидетельств, представляемых этим психофармакологом, в ходе перекрестного допроса. Задавая свои вопросы на этой стадии, обвинитель не стал напрямую оспаривать профессорские доказательства, предоставив это мне. Поэтому профессор покинул место для свидетельских выступлений с видом человека, хорошо сделавшего свою работу. Он не стал дожидаться моих возражений.

Представленные им доказательства сводились к следующему: обвиняемый, непутевый молодой человек, выкурил столько марихуаны, что *наверняка* был бы физически не способен совершить какое-либо убийство, а возможно, он вообще потерял сознание после приема наркотика.

Но с этим заявлением возникла одна проблема: существовало видео, показывавшее, как обвиняемый идет по улице незадолго до того момента, когда было совершено убийство. Правда, качество съемки было невысоким. Я бы не опознал обвиняемого

в человеке на этих кадрах, но меня заверили в том, что его личность установлена совершенно неопровержимо. Ознакомившись с видео, я сказал, что хотя оно не представляет никаких доказательств великолепной координации движений, но не доказывает и того, что его координация была нарушена так серьезно, как, по словам профессора, это должно было быть. Обвиняемый шагал настолько же целеустремленно, насколько шел бы всякий человек, торопящийся на какую-то деловую встречу. И именно защита должна была доказать, что он не был способен совершить преступление, а сторона обвинения не должна была доказывать обратное.

Более того, профессорские фармакологические доказательства, на мой взгляд, содержали очевидные огрехи, даже если обвиняемый действительно выкурил столько марихуаны, сколько утверждал (никаких доказательств этого не было, кроме его собственных слов, а ведь сам он вряд ли мог считаться здесь незаинтересованной стороной). Я подчеркнул, что концентрация основного активного компонента каннабиса широко варьируется у разных его сортов (порой в несколько раз); что количество дыма, вдыхаемого потребителем, тоже сильно варьируется (опять-таки порой в несколько раз); что само воздействие этого наркотика на организм также значительно варьируется — в зависимости от опыта, ожиданий, обстоятельств, темперамента и других факторов; поэтому невозможно сделать какие-либо выводы о поведении человека и состоянии его сознания, исходя лишь из информации о том, сколько марихуаны он выкурил. Таким образом, косвенные улики были сочтены наиболее значимыми, и мужчину признали виновным.

В ходе рассмотрения другого убийства, на многоэтажной парковке, я познакомился с экспертом иного типа, на сей раз — в области судебной энтомологии (прежде я даже не знал, что такая область вообще существует). Он чем-то напомнил мне

того психофармаколога, хотя в действительности был куда более склонен к самоуничтожению, да и предметом его исследований служили, конечно же, насекомые, а не человек. Это убийство стало развязкой конфликта между двумя продавцами *Big Issue* — журнала, основанного для поддержки распространяющих его бездомных, из-за «территориальных прав» на его продажу в городе. Ничто не бывает важным или неважным само по себе: все дело в том, как мы к этому относимся.

Я ждал возле здания суда, чтобы меня вызвали выступить, и ко мне присоединился человек с великолепными усами. На нем тоже был костюм в меловую полоску. Мы разговорились, и я спросил, кем он работает.

— О, — отозвался он, — я просто мушиный человек.

В этом деле многое зависело от «возраста трупа» — давности убийства. Как ни странно, труп на этой многоэтажной автостоянке довольно долго оставался необнаруженным. После этого процесса я, попадая на такую парковку или покидая ее, всегда невольно думал, где тут мог бы таиться труп, — даже осматривался, выискивая его глазами.

Этот мушиный человек, как он сам себя называл, объяснил мне то, что я раньше лишь смутно себе представлял. Оказывается, конкретные виды личинок и другие свидетельства того, что в трупе поселились мухи, указывают (если учесть некоторые параметры среды) наиболее вероятный «возраст трупа». Мухи колонизируют труп в упорядоченной и предсказуемой последовательности их биологических видов, в зависимости от страны, условий среды, климата. Так мне внезапно открылось существование совершенно новой для меня области человеческой эрудиции. Это был целый мир.

Мушиный человек изложил мне доказательства, которые он намеревался представить в суде, с блистательной ясностью и явной авторитетностью. Очевидна была и его любовь к своему

предмету. Он говорил без всякой снисходительности к невежественному собеседнику (в данном случае ко мне). При этом казалось, что последовательность появления видов мух, населяющих труп, — самая важная тема на свете. Но одновременно он ухитрялся дать понять, что мухи на трупе лишь один пример, позволяющий нам очаровываться мирозданием и испытывать изумление перед ним. Меня тут же охватило чувство привязанности к этому человеку.

Его вызвали в суд (мне показалось — слишком уж скоро, ведь я готов был слушать его годами). Больше я с ним ни разу не встречался, но через несколько дней получил (через редакцию одной газеты) письмо от доктора Закарии Эрзинклиоглу, судебного энтомолога. В этом послании он сообщал, что с большим удовольствием прочел одну из моих статей, и выражал свое согласие с ней. Судебные энтомологи не слишком многочисленны, и я понял, что автор письма — мой новый знакомый, встреченный мною тогда у здания суда.

Конечно, я тут же ответил, поскольку в тот момент не существовало человека, с которым я был бы столь же рад подружиться. Но моим мечтам о дружбе с ним не суждено было сбыться. Вскоре, открыв газету *The Times*, я наткнулся на некролог доктору Закарии Эрзинклиоглу, скончавшемуся от инфаркта в возрасте пятидесяти лет.

Его жизненный путь был необычным. Он родился в Венгрии (родители у него были турки), рос в Судане и Египте, изучал зоологию и энтомологию в английском Вулверхэмптонском университете, в конце концов оказался в Кембридже. Я уже несколько десятков лет жил без телевизора, поэтому даже не подозревал, что он стал известен как телевизионная фигура (он вел программу «Свидетель был мухой» и другие подобные передачи). Он знал, как утолять жажду знаний, владеющую публикой, и стал автором нескольких книг об убийствах людей

и о личинках насекомых, а также авторитетного учебника, посвященного падальным мухам Британии (это зачаровывающая работа, и она, как ни странно, обладает своеобразной красотой).

Некролог о нем в *The Times* был написан с теплотой, необычной для таких текстов, словно автор глубоко и искренне сожалел об уходе доктора Эрзинклиоглу. Автор сумел передать привлекательность человека, который, представляясь вам, скромно говорил, что он «просто муховед». И хотя мне довелось увидеться с ним всего однажды и получить от него одно-единственное письмо, я почувствовал неожиданно сильный прилив скорби, узнав о его безвременной кончине. Эту скорбь я ощущаю по сей день — всякий раз, когда вспоминаю его.

Через несколько месяцев после убийства из-за продажи *Big Issue* и последовавшего суда мы с женой шли по улицам города, и один из распространителей журнала окликнул меня:

— Привет, доктор, вы меня помните?

Я его узнал, хоть, в сущности, и не помнил его. Во время своего пребывания в тюрьме он находился на моем медицинском попечении. Я осматривал его, когда он попал за решетку.

— Я был героинщиком, но вы мне ничегошеньки не прописали для облегчения, — напомнил он. — И все мои таблетки не велели мне больше принимать.

— Да, — ответил я, — но я не сделал бы этого без объяснений.

— Ну да, вы разъяснили, но я решил, что вы человек суровый, изрядно суровый.

— Всегда гораздо быстрее и легче дать пациенту то, что он хочет, — заметил я. — Рецепт можно выписать за какие-то секунды. А вот на объяснение уйдет больше времени.

— Короче, я повидался с вами и пошел к себе в камеру. Иду и думаю: «Я попробую». Поначалу было тяжело, но стало легче. Сейчас уже полтора года как я со всем этим порвал,

впервые с шестнадцати лет ничего не принимаю. И я не попадал ни в какие переделки с тех пор, как вышел.

Теперь ему было тридцать два, он жил в общежитии и впервые в жизни пытался заработать какие-то невеликие деньги честным путем. Он вырос в детском доме и, вероятно, видел мало любви или симпатии со стороны окружающих. Его попытка вести лучшую жизнь была похвальной и даже впечатляющей. Во всяком случае меня это тронуло, и я, конечно, купил у него один журнал, заплатив больше, чем он просил. Он поблагодарил меня за то, что я для него сделал (по правде говоря, очень мало), — когда я отказал ему в таблетках, хотя в тот момент мне легче было бы без особых рассуждений выписать их. Мы пожали друг другу руки. Я пожелал ему удачи, но мои слова показались мне самому какими-то пустыми и жалкими. Что могут значить эти несколько слов ободрения на фоне целой жизни, полной лишений, в городе и культуре, которым так свойственны подобные лишения и напасти?

Так легко приписать свои успехи себе, а свои промахи — окружающим. Откуда мне было знать, действительно ли я тогда оказал на этого теперешнего торговца журналами *Big Issue* такое благотворное воздействие, которое он теперь мне приписывал?

На самом деле преступники «взрослеют», и к концу четвертого десятка мало кто из них продолжает свою преступную жизнь — вне зависимости от того, что для них делается или не делается. Возможно, мой бывший пациент тогда и без меня находился в процессе отхода от преступной деятельности (в конце концов, он же решил попробовать отказаться от наркотиков), а мое влияние на него было слабым или вообще нулевым. Его рассказ о собственной жизни оказался для меня недостаточным, чтобы я мог задним числом назначить себя на роль спасителя и избавителя.